

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский [chukovskiynikolai.ru](http://chukovskiynikolai.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://chukovskiynikolai.ru/> приятного чтения!

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский

1

По утрам, приходя к ней наверх за кипятком, я всякий раз с любопытством оглядывал ее жилье – кухню и спальню.

Желтая зимняя заря смотрела через окна прямо в стену спальни.

Лихо глядел на меня со стены казак Кузьма Крючков, выжженный на дощечке.

Другой Кузьма Крючков был вышит крестиками на канве неумелой детской рукой.

На столе чернильница, сделанная из снаряда, рядом с ней ручка, сделанная из патрона.

На середине стола – резная рамка, а в ней – молодые глаза, ямочки на подбородке, кокарда, погоны, пуговицы и крестик на георгиевской ленточке.

А сколько этих фотографий с ненавистными офицерскими погонами, кокардами и пуговицами под Кузьмой Крючковым! Особенно ближе к углу, над кроватью.

Но не всегда крестики. И глаза не всегда молодые.

Случалось, иная из этих фотографий, сорванная моим плечом, падала на пол. На оборотной стороне каждой из них всегда было что-то написано, то карандашом, то пером. Почерк был разный: на одной – крупный, на другой – мелкий. Но надписей этих прочитать я не успевал – слишком уж быстро Галина Петровна подымала карточки с пола.

Я о ней слышал только плохое, но меня всякий раз тайно трогали ее ясные голубые глаза, окруженные желтоватыми морщинками.

Галина Петровна в тот год была еще, в сущности, молода, но лицо ее с подсохшими губами казалось уже истасканным и увядающим. Только глаза были у нее еще двадцатилетние, с чистыми белками, с голубизной, не начинающей выцветать. Маленькая, полная, она двигалась по полу легко и бесшумно, словно катилась.

Когда я входил, в глазах ее появлялось выражение робости, – вероятно, она знала, как мы к ней относились.

Я приносил с собой старый солдатский котелок Якова Иваныча – другой посуды у нас не было. Она доверху наливала его кипятком из потемневшего медного чайника, – струя, позолоченная зарей, казалась твердой. Светлые ее кудерьки – она мелко-мелко завивала волосы вокруг лба – становились влажными от пара.

– А я напьюсь и лягу спать, – застенчиво говорила она мне, рукавом прикрывая зевоту.

Так же, как и мы, в городе она была чужая, служила сестрой в военном лазарете и дежурила по ночам. Домой она возвращалась к утру.

Я привязывал котелок к полотенцу, чтобы не обварить паром руки, и спускался по лестнице в сени. Мороз в сенях был как на дворе.

Я стремительно отворял дверь в нашу комнату.

За дверью, в ободранной нашей комнате, грязно-голубой от махорочного дыма, меня поджидали оба мои сожители. – Яков Иваныч Потанин и Сашка Воронов – с кружками в руках.

На полу, на газете, лежал кусок хлеба – мебели у нас не было никакой. Рядом с хлебом – астраханская селедка, уже разрезанная на три части.

– Принес? – спрашивал Сашка и совал руки в пар, чтобы согреть пальцы.

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
– Надоело у нее одалживаться, – говорил Яков Иваныч, зачерпнув кружкой из котелка. – Придется свое хозяйство заводить.

И прибавлял, намочив усы кипятком:

– Офицерская сука.

2

Своего хозяйства нам завести так и не пришлось.

Когда я думаю о той зиме, прежде лиц и событий, прежде занесенных снегом заборов, осин, крыш, столбов я вспоминаю ощущение привычной, как боль, тревоги, не покидавшей нас до самой оттепели. Всю ту зиму колчаковский фронт медленно приближался к городу.

Мы трое – Яков Иваныч, Сашка Воронов и я – были чужие в этом кривобоком речном городке.

Впрочем, своих в городке давно уже не осталось: лесопромышленники с семьями перекочевали к Колчаку – в Уфу и в Омск, а лесорубы, пильщики и плотовщики ушли на фронт еще в ноябре и сидели с винтовками в снегу далеко на севере, на самом левом фланге наших армий.

Вокзал был за рекой, на том берегу.

Там тупиком кончалась железнодорожная ветка.

Оттуда, с вокзала, по речному льду, приходили вооруженные люди. Их лица были исколоты ветром. Они шли вверх по пустым улицам, через разгромленный рынок, мимо собора, где хранилась чудотворная икона, знаменитая на десять губерний, мимо вымороженных контор лесоторговцев. В исполкоме их кормили кашей. Каша была похожа на суп. Каша пахла рыбой. Но зато была горяча.

Они ночевали вповалку. Утром на дровнях их отправляли дальше – за холмы, на восток, на фронт.

Яков Иваныч Потанин был старый сормовский рабочий, а Сашка Воронов – мальчишка, откуда-то не то из Козлова, не то из Борисоглебска, работавший прежде в паровозоремонтных мастерских, хвастливый, смешливый и щеголеватый, в синих галифе, со светлым коком из-под папахи, с выбитыми передними зубами.

Я был младший – на год моложе Сашки. Нас кинул сюда – с разных концов – восемнадцатый год, изрядно помотав перед тем по городам и по шпалам, и столкнул вместе на полу в пустой комнате с ободранными обоями.

Река была совсем близко от нас.

Из нашего окна видны были столбы, на которых когда-то висели ворота, а за столбами – на самом берегу реки, за кривой улицей – низкие серые срубы домов, белые колоколенки с зелеными куполами и сорванные ветром вывески лавок. Над колоколенками, над берегом крутились черные галки. За клубком галок – зимний, неподвижный простор реки.

Просыпаясь на заре, окоченевшие возле остывшей «буржуйки», мы ненавидели эти срубы и колоколенки. Якова Иваныча мы с Сашкой Вороновым привыкли слушаться с самого начала. Яков Иваныч был и старше нас, и заслуги перед революцией имел несомненные, и влиянием пользовался, и знал много. Тюрьма закалила его, как вода закаляет горячую подкову, сделала строгим и требовательным. Все поступки Якова Иваныча были тверды, последовательны и бескорыстны.

В исполкоме удивлялись, почему Яков Иваныч, крупный исполкомовский работник, поселился с двумя мальчишками. Как будто он не мог найти себе сожителей солиднее, более подходящих по возрасту. Я и до сих пор не знаю, почему ему нравилось жить с нами. Ласков он никогда не был, даже разговаривал мало. Я не помню, чтобы он делал нам замечания или выговоры, но была у него манера презрительно щурить глаза за очками и молчать, от которой мы с Сашкой леденели. Он не прощал никому ни малейшей дурашливости, никакого легкомыслия.

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru

А человека легкомысленнее Сашки Воронова мне еще встречать не приходилось. Весь он был полон горделивым, цветистым, как павлиний хвост, вздором. И ладить с Яковом Иванычем было ему нелегко.

Вспоминается мне Сашкина папаха – тяжелая груда черной кудлатой шерсти. Папахи огромнее никогда не было и не будет, – говорили, что в нее можно всыпать два пуда ржи. Когда Сашка выходил в обход на рынок, неизвестно, чего больше боялись спекулянты – его самого или его папаху.

Он только еще появлялся за углом у каланчи, голубоглазый, румяный, с нежными девичьими губами, весь в каких-то сияющих ремнях, в синих галифе с кожаным задом, с винтовкой за плечом, с наганом на поясе, с черной громадой на голове, – а уж небритые люди в солдатских шинелях прятали за пазуху куски сахара и сала, мужики, держа под мышками ко всему привыкших кур, ныряли в щель забора и в бабьих юбках пропадали рыжие пироги – с рыбой, с клюквой, с грибами и с кашей.

Сашкину папаху знал весь уезд, и Сашка ужасно ею гордился.

Папаху ему подарил один комиссар, переброшенный к нам с Южного фронта и пробывший у нас в городе несколько дней. Комиссару она досталась в бою, от убитого калединского чеченца, но носить ее он стеснялся – слишком уж она была велика.

Признаться, я в то время поглядывал на Сашкину папаху с восхищением и завистью и не понимал, за что невзлюбил ее Яков Иваныч.

Но Яков Иваныч терпеть ее не мог.

И странное дело – Сашка в присутствии Якова Иваныча тоже как будто стеснялся своей папахой, хотя и старался это скрыть.

Яков Иваныч никогда ему о папаше ничего не говорил. Один только раз заметил он что-то такое насчет вшей, которые могут завестись в шерсть.

– Старовер проклятый! – неслышно проворчал Сашка, когда Яков Иваныч отвернулся.

Сашка, сердясь на Якова Иваныча, всегда называл его старовером.

Однако с тех пор он перестал вносить папаху в комнату, и, приходя домой, оставлял ее в сенях, под лестницей.

Не одобрял Яков Иваныч и многих Сашкиных привычек, например самую шикарную из них – поминутно сплевывать уголком рта.

Идя по улице, Сашка равнодушно и надменно разбрасывал вокруг себя светлые комочки слюны.

Привычку эту он приобрел после того, как вышиб себе винтовкой два зуба во время облавы на вокзале, на той стороне реки. Заградительный отряд, в котором работал Сашка, обошел темный вокзал кругом, чтобы мешочники не удрали через рельсы в поле. Сашка нес винтовку перед собой, прикладом вниз, стволом вверх. Во тьме он, не заметив, споткнулся о платформу. Ствол въехал ему в рот. Сашка выплюнул зубы и с тех пор начал плевать.

И только в присутствии Якова Иваныча он не плевал никогда.

Впрочем, даже Якову Иванычу не всегда легко было с Сашкой ладить.

Помню, Яков Иваныч терпеть не мог, когда Сашка начинал ни с того ни с сего стрелять из нагана. Яков Иваныч считал это распущенностью.

А Сашка играл наганом, как ребенок.

Хлопая себя ладонями по коленям, он вдруг начинал клясться, что с одного выстрела попадет в шляпку гвоздя и загонит гвоздь в стену.

Штукатурка сыпалась, обнажая дранки, а гвоздь все торчал, приводя Сашку в ярость.

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru

Сплюнув на пол сквозь зубы, он залихватским движением высыпал пустые гильзы в ладонь левой руки и снова заряжал.

После каждого промаха он произносил ругательство – почти беззвучное, так как судорога стискивала ему горло.

Яков Иваныч бесстрастно наблюдал за ним.

Потом говорил спокойно:

– Пошел вон.

Раз! раз! раз! – садил Сашка в стену, не обращая на Якова Иваныча никакого внимания.

Яков Иваныч клал правую руку Сашке на затылок, а левой отворял дверь.

– Ты думаешь, ты мне начальство? – кричал Сашка, упираясь. – Ты думаешь, я тебя слушаться буду? Да я...

Но это он только хорохорился. Сопротивляться Якову Иванычу у него никогда не хватало духу.

Однако, вытолканный во двор, он из упрямства еще долго стрелял. Став перед самым окном, чтобы Яков Иваныч мог его видеть, он целился в скворечник, торчавший на голой осине посреди двора.

Ближние улицы пустели – прохожие, услышав выстрелы, обходили наш квартал. Мороз сводил Сашке пальцы, но Сашка продолжал стрелять, кроша скворечник в щепки.

Яков Иваныч, вытолкав Сашку за дверь, казалось, забывал о нем. Делал вид, будто даже не слышит выстрелов. Он брал книгу, надевал очки и ложился на пол, на шинель. Читал он сосредоточенно, даже торжественно, и все время шевелил губами, как читают люди, научившиеся читать взрослыми.

И Сашке мало-помалу становилось скучно. С тоской оглядывался он по сторонам и зяб. Раскаяние мучило его.

Держа наган в опущенной левой руке, он подымался на крыльцо. Старательно отряхивал еловой веточкой снег с сапог. Потом входил, весь в облаке морозного пара, надув губы, с виноватыми глазами.

Яков Иваныч продолжал читать, даже не взглянув на него. Сашка в нерешительности переступал с ноги на ногу. Потом наклонялся и осторожно клал наган на пол, рядом с шинелью Якова Иваныча.

– Яков Иваныч!..

Яков Иваныч даже не поворачивал головы. И наша жизнь шла по-старому – в полном повиновении Якову Иванычу.

3

С Валерьяном Сергеичем Кудрявцевым, только что приехавшим из Москвы, Сашка познакомился в исполкоме и повел его к нам.

Было это в середине зимы, когда появились самые первые слухи о приближении фронта.

Помню, увидел я через окно – входит к нам на двор незнакомый человек в рыжих крагах, а рядом с ним идет Сашка, тащит тяжелый чемодан и хохочет.

Сашка был вообще смешлив, но тут он уже находился в состоянии полного изнеможения от смеха. Человек в крагах скажет ему два-три слова с самым серьезным видом, а Сашка роняет чемодан в снег и падает, трясаясь и задыхаясь.

Когда они ввалились в сени, Сашка был уже без голоса – только хрип и бульканье вырывались из его рта.

Я сразу почувствовал, что все это не понравится Якову Иванычу, и был прав. Яков Иваныч терпеть не мог Сашкиной хохотливости. Раз Сашка смеется – значит, вздор.

Яков Иваныч сидел на корточках перед печуркой и разжигал трубку, спокойно держа двумя пальцами раскаленный уголек. Он не обжигался – такая грубая от долголетней работы была у него на руках кожа.

Когда в комнату вошли Кудрявцев с Сашкой, он даже не приподнялся, а только бросил уголек, снял очки, повернул голову и посмотрел на них щурясь.

Сашка разом остыл. Глаза его стали круглыми от испуга, губы вытянулись, одни только плечи продолжали подскакивать – задушенный смех все еще тряс его изнутри.

Кудрявцев, напротив, нисколько не был смущен. Сразу поняв, что Яков Иваныч человек серьезный, он бросил на Сашку укоризненный, неодобрительный взгляд. Смотря на Якова Иваныча ясными серыми глазами, он объяснил, что приехал в город с поручением организовать артиллерийскую школу. Он, конечно, понимает, что, поселившись в нашей комнате, он стеснит и себя и нас. Он извинился – его ввели в заблуждение, но он найдет где устроиться.

Однако он ушел не сразу, а добродушно и просто подсел к печке. Росту он был среднего, ладный, подтянутый, но с холодком в глазах, с вялыми и влажными губами.

Открыв свой чемодан, он дал каждому из нас по картофельной котлете и, жуя, рассказал о белогвардейском заговоре, который только что был ликвидирован в Москве. Яков Иваныч уже слышал об этом заговоре, но не знал подробностей и стал расспрашивать Кудрявцева. Кудрявцев на все отвечал обстоятельно и разумно, скромно, но со знанием дела, и Яков Иваныч вполне с ним примирился.

Сашка потащил чемодан Кудрявцева обратно в исполком. Через окно я увидел, как, выйдя во двор, Кудрявцев сказал Сашке что-то такое, от чего Сашка снова затрясся и, хохоча, уронил чемодан в снег.

4

Сашка называл нашу соседку Галину Петровну «шлюха на покое» и с хохотом уверял, будто она подала в совнарком заявление с просьбой выдать ей пенсию за выслугу лет.

Яков Иваныч терпеть не мог таких шуток, но Галину Петровну и сам не любил.

Не за то, что у нее была слава бывлой распутницы – невнятная слава, волновавшая городок. Яков Иваныч невзлюбил ее с осени, с первого дня своего приезда в город, когда он единственный раз побывал у нее наверху. Он увидел фарфоровые яйца, рамочки, карточки, двух Крючковых, чернильницу из снаряда, и все ему не понравилось.

– От нее несет офицерщиной, как псиной, – говорил он.

Ко всему офицерскому Яков Иваныч испытывал ненависть, презрение и брезгливость.

Но с Валерьяном Сергеичем Кудрявцевым иногда разговаривал, хотя Валерьян Сергеич был прежде офицером.

Якову Иванычу нравилось, что Кудрявцев рассказывает о своем прошлом с подкупающей откровенностью. Другой постарался бы скрыть такое прошлое: офицер, после революции связавшийся с левыми эсерами, – об этом безопаснее было бы молчать. А Кудрявцев откровенно признавался, что порвал с эсеровской организацией только после убийства Мирбаха. Но порвал навсегда. С тех пор он работает в Красной Армии на различных, довольно ответственных должностях.

В исполкоме и в военном комиссариате Валерьяна Сергеича приняли хорошо. Мандаты, представленные им, были в порядке. В Москве ему, видимо, доверяли люди, сомневаться в которых было невозможно. Да и человек он оказался простой и свойский.

Для артиллерийской школы он получил большой бревенчатый купеческий дом на

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
Дворянской улице.

Помню, он даже на вербовал десятка два курсантов – по собственному выбору – из всякого народа, проезжавшего через наш город.

Но открытие школы что-то затянулось, так как в городе не было ни орудий, ни подходящих преподавателей, и пока обо всем этом списывались с кем следовало, подошла весна.

Кудрявцев сам поселился в этом купеческом доме и отлично устроился. Мебели там было сколько угодно, дров тоже. Пол своей комнаты он покрыл огромным ковром с басурманским узором. Приятелей принимал он, сидя на тахте, а над тахтой, на стене, висели у него – крест-накрест – кавказские кинжалы.

Он уверял, что больше всего на свете любит изящное оружие. В Москве на квартире у него целая коллекция кинжалов, сабель, ружей, мечей, алебард и секир.

А с собой он захватил пустяк – обыкновенный наган, изукрашенный серебром.

Серебряные листья, отчеканенные знаменитым тифлисским мастером, ползли по нагану. Наган сверкал, как церковная риза. С благоговением и завистью Сашка приподымал его на ладони, вертел и почтительно возвращал Валерьяну Сергеичу.

Помню, я отчего-то очень был поражен, заметив, что Валерьян Сергеич знает Галину Петровну. Однажды, выйдя во двор, я случайно увидел, как они встретились на улице, перед нашим домом.

По твердому, утопанному снегу она шла вдоль забора, укутанная серым шерстяным платком, и несла ведро с водой. Лыдинка билась в темной воде.

Он шел ей навстречу посреди улицы, и воробьи взлетали возле его желтых краг.

Мне показалось, он вздрогнул, увидав ее, и как-то странно дернулся к ней. Не знаю, хотел ли он поздороваться или помочь ей тащить ведро.

Но она так рванулась от него к забору, что выплеснула лыдинку из ведра на дорогу.

Тогда он сделал вид, будто не видит ее, и пошел дальше.

Она пронесла ведро мимо меня и поднялась по лестнице наверх, к себе.

Через минуту в ее окне, стукнув, открылась форточка. Несколько клочков картона упало в сугроб. И форточка закрылась.

Я полез в снег и нашел два обрывка разорванной фотографической карточки. На одном обрывке были рука и плечо с погоном. На другом – козырёк, кокарда, часть бледного лба. Лица мне найти не удалось.

Когда я потом спросил Валерьяна Сергеича, знает ли он Галину Петровну, он презрительно скривил мягкие губы.

– Ее весь австрийский фронт знал, – сказал он с неожиданной злостью. – Тертая баба.

5

Мне всегда было не совсем ясно, каким образом Кудрявцеву удалось до такой степени привязать к себе Сашку.

Вероятно, он поразил мечтательный Сашкин ум своей бывалостью, опытностью, своим умением рассказывать обо всем на свете – о городах, о войне, о море, о женщинах.

Он был старше Сашки, образованнее, он приехал из Москвы, где Сашка никогда не бывал, и Сашке льстила дружба такого человека.

Впрочем, не один Сашка зачастил в купеческий особнячок на Дворянской. Туда хаживали многие. Мало-помалу у Кудрявцева оказался целый кружок не то приятелей, не то поклонников – и все самых разных людей.

Ходил к нему агроном – известный всему городу гитарист. Ходил какой-то долговязый попович. Ходили работники унаробразы из бывших сельских учителей. Ходили также и многие товарищи Якова Иваныча из исполкома, те, что помоложе. Да и почему бы не ходить: Валерьян Сергеич – человек знающий, столичный, крупный работник.

Одни ходили к нему поговорить, другие – повеселиться. В большом зале купеческого особняка Валерьян Сергеич иногда устраивал танцы.

Вешали на гвоздик семилинейную керосиновую лампочку. Приглашали девиц с голубыми и розовыми ленточками на лбах, в высоких сапожках со шнуровкой. Девушки были жеманны и говорливы. Плясали вальс, павеспань и еще один танец, носивший в те годы название тустепа. Тени галифе и юбок-клев прыгали по стенам.

Сашка, конечно, не скрывал от Якова Иваныча своей дружбы с Кудрявцевым, однако старался, чтобы эта дружба не слишком бросалась Якову Иванычу в глаза. Он, очевидно, подозревал, что Яков Иваныч ревнует его, и, пожалуй, был прав. По вечерам он всегда норовил вернуться домой раньше Якова Иваныча, заседавшего где-то до двенадцатого часа.

О том, что Кудрявцев пьет и каков он, когда выпьет, узнали мы в середине февраля, при обстоятельствах страшных, поразивших весь город.

Сильным ветром тянуло с реки. Ветер сдувал снег, белым колючим дымом крутил его над буграми и крышами. Сашка ушел к Кудрявцеву в сумерки и все не возвращался.

В тот вечер впервые случилось так, что Яков Иваныч пришел домой, а Сашки все не было.

Яков Иваныч сдувал снег с усов, снял шапку, протер очки. Он ни слова не сказал про Сашку. Так и спать лег, Сашку не дождавшись, и даже не помянул, словно его и на свете никогда не бывало.

Разбудил меня Яков Иваныч среди ночи, натягивая сапоги. Комната была полна махорочным дымом, и я понял, что Яков Иваныч давно не спит, давно лежит и курит.

Я ткнул рукой в тот угол, где обыкновенно лежал Сашка, – там было пусто.

Ветер шуршал снегом по стеклу.

– Яков Иваныч, лежите... Яков Иваныч, я сам пойду... Я приведу его, Яков Иваныч...

Снег мне резал лицо. Пуста и бела была улица, прикрытая низким черным небом. В окнах купеческого дома на Дворянской ни одного огня.

Я стучал в ворота, долго ждал и, озябнув, стучал опять.

Вышла наконец сторожиха.

От нее я узнал, что Кудрявцев и Сашка на исполкомовских лошадях уехали вечером за реку, в деревню. В деревню за реку по вечерам ездили у нас только за самогоном. Но в ту минуту я этого не вспомнил.

Вспомнил я про это днем, когда пара исполкомовских лошадей, запряженная в дровни, вылетела на площадь.

За вздернутыми конскими мордами я увидел лицо Кудрявцева с серыми оловянными глазами и едва успел отскочить.

Кудрявцев, без шапки, стоял на дровнях во весь рост. Крепко стоял, расставив ноги в рыжих крагах.

Он был пьян до полусмерти. Но опьянение владело только разумом. Ноги и руки были трезвы.

С холодным неистовством стегал он концом вожжей по конским спинам.

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru

А за рыжими крагами, на досках, едва прикрытых жидкой соломой, лежал Сашка. Я узнал его, увидев громадный ком черной шерсти – его папаху. Сашка спал, и голову его било о доски.

Я успел только крикнуть, и лошади уже исчезли за каланчой в облаке снежной пыли.

Потом я много раз видел их издали – то на холмах, над городом, то внизу, на льду реки. Они ошалело носились вокруг города, по крутым обледенелым дорогам, с которых ветер сметал весь снег. Когда вьюга скрывала их, я думал, что они слетели под откос. Но затем вновь различал конские морды, дугу и голову Кудрявцева без шапки.

Наконец лошади снова вынесли дровни на площадь.

Теперь Кудрявцев норовил стегнуть вожжами не по лошадям, а по людям, которые сбегались со всех сторон.

Весь город был на улицах. На всех перекрестках стояли городские смельчаки в рваных серых шинелях и в тулупах цвета ржавчины и пытались преградить путь лошадям. Однако каждый сразу отскакивал от оглобель, когда над его головой взвивалась крученая веревка с промерзлыми узлами.

Мы с Яковом Иванычем поджидали лошадей на кривой Колокольной улице. Яков Иваныч прижимал очки к переносице, словно умолял их не свалиться. Лошади вылетели из-за угла внезапно. Яков Иваныч кинулся к лошадям. Но опоздал.

Мы увидели остекленелое лицо Кудрявцева с неистовыми мертвенными глазами, и все пронеслось.

Яков Иваныч вдруг бросился во двор. Я побежал за ним, не понимая. И, только перескочив через забор, догадался, что Колокольная улица делает крутой заворот и мы бежим лошадям наперерез.

Со двора во двор, все вниз и вниз по откосу, мчались за нами смельчаки с Колокольной.

Яков Иваныч вырвал на бегу из плетня тяжелую, длинную жердь и выскочил с ней на дорогу, прямо перед мордами лошадей.

Лошади поднялись на дыбы и отпрянули.

Потом вдруг свернули за угол и понеслись к деревянному мосту.

Я закричал, и в один голос со мной закричала вся улица.

Деревянный мост построен был лет семьдесят назад через овраг на краю города. Мост сгнил, и в девятьсот двенадцатом году городская управа закрыла его даже для пешеходов. С тех пор половина свай под ним рухнула, и в ветреные ночи мост, покачиваясь, пугал горожан своим скрипучим пением.

Доска, загораживавшая проезд, сломалась, щелкнув, как ружейный выстрел, и отлетела в сторону.

Весь снег с моста был сметен ветром, и мы услышали глухой стук копыт по трухлявому дереву.

Яков Иваныч вцепился рукой в мое плечо. Мы перестали дышать.

Лошади перелетели через мост.

Но едва полозья саней оказались на той стороне оврага, мост рухнул.

Лошади, не пробежав и двадцати шагов, запутались в размотавшейся шлее и стали. Они больше не сделали ни шагу, хотя Кудрявцев продолжал бессмысленно стегать их вожжами по спинам.

Когда мы обежали овраг кругом, он уже обессилел и спал, свалившись на Сашку.



С тех пор Яков Иваныч невзлюбил Кудрявцева, и Кудрявцев стал приходить к нам только тогда, когда знал, что Якова Иваныча нет дома.

Он появлялся в сумерки и всякий раз привозил с собой на детских салазках несколько поленьев.

Мы дружно топили «буржуйку», сидя рядом на корточках. Один колот щепки, другой отдирал бересту. Возня с огнем сближала нас. Пламя рвалось во все щели чугунного ящика, пламя дышало в коленчатых сгибах трубы. Когда Кудрявцев открывал заслонку, чтобы подложить дров, длинная узкая кисть его руки становилась прозрачной и вся наливалась багровым светом, как влагой.

Пока Яков Иваныч мерз где-то на заседании, мы накаляли комнату до одури, до того, что старые балки стен подымали трескотню и в темноте на черном железе трубы выступали тусклые красные пятна.

У нас не было ни керосина, ни лампы, мы зажигали лампадку и ставили ее в угол.

На конце фитилечка дрожал золотой огонек, шатая наши громоздкие тени по потолку и по стенам.

Мы курили, сидя на поленьях.

Сашка рассказывал о хитростях спекулянтов. Где только не приходилось ему находить продукты! Толстенная баба бежит по шпалам и худеет на бегу, а из нее сыплются картошки, как из порванного мешка. Сидит тетка в теплушке, а за спиной мужчина лежит, прикрыт с головою шинелью, одни сапоги торчат, – болен, мол, спит, жена домой везет. Дернули шинель – и никакого мужчины нет, а лежит здоровенный мешок, а к мешку сапоги приставлены.

А вчера в соборе поп сказал нахальную проповедь о бесстрашном воителе, после которого воцарится мир, – «укрощал он бури морские, а теперь укрощает земные», – и всем было понятно, что воитель этот – адмирал Колчак. Они надеются, что Колчак дойдет до нашего города.

– А может Колчак дойти до нашего города? – спрашивал вдруг Сашка, тревожно глядя в лицо Валерьяну Сергеичу.

Но Валерьян Сергеич, опытный военный, утверждал, что до нашего города Колчак никак дойти не может. Он хохотал над глупостью этих гадов, которые думают, будто Колчак может дойти до нашего города.

Мы с Сашкой ложились.

Валерьян Сергеич один оставался у печки греметь кочергой и подкладывать поленья.

И Сашка начинал говорить о море.

Моря Сашка не видал никогда, и как себе его представлял – неизвестно. Сашка вырос в самом сердце материка, тысячи верст суши отделяли Сашку от ближайшей морской волны. Но на левой руке у него, на запястье, был вытатуирован якорь. Вся удаль и вся красота мира заключались для Сашки в одном слове – матрос.

За всю свою жизнь Сашка видел только одного матроса – на митинге. Матрос приехал из Петрограда, рассказывал, как брали Зимний дворец, говорил о мировой революции и гибели капитализма. Ветер мял голубой воротник. Сашка смотрел в лицо матросу и слушал с завистью и восторгом.

С тех пор Сашка твердо знал, что сам будет матросом – с голубым воротником, в широких штанах, с черной лентой за ухом, раздвоенной на конце, как язык змеи. Судьба революции решится на море. Дредноуты, крейсера, миноносцы прорвут блокаду, пройдут по сияющим морям к дальним странам, где живут черные, желтые и коричневые народы, подымут их, зажгут мировой пожар и разрубят цепи проклятого капитала.

Сашка становился молчалив – им овладевала сонливость. Валерьян Сергеич, напротив, к концу оживлялся и начинал ходить по комнате.

Разговор про море превращался постепенно в разговор про всякую лихость.

Мы дремали, а Валерьян Сергеич рассказывал нам о кадетском корпусе, о том, как кадеты обманывали эконома и съедали по пятнадцать котлет. О красавце юнкере, который на пари соблазнил девушку за три часа до ее свадьбы. О дуэлях. Хотя эти помещичьи сынки – враги революции, но – дело прошлое – надо признать, что были и у них лихие ребята. О киевлянке Берте, королеве проституток, из-за которой ссорились гвардейские полки. Об офицерах, которые проигрывали своих жен в карты. Да, Валерьян Сергеич был человек опытный и многому мог научить нас, молодых.

Однажды, помню, он заговорил о Галине Петровне.

Он близко знал ее и в четырнадцатом году, и в пятнадцатом. Очень близко, ближе невозможно. Впрочем, не он один. Он только первый ввел ее, так сказать, в оборот. А потом полковник, получив отпуск, увез ее с собой в Крым, но там бросил, и назад, на фронт, она пришкандыбалась с каким-то штабным. Она путалась с доктором и с капитаном Вознесенским. У них была целая компания, доктор доставал спирт, они пили, запрягали лазаретских лошадей в сани и мчались по снегу при луне. Летом доктор умер от холеры, а Вознесенский ее бросил. Но в нее влюблялись все прапорщики, которые попадали в лазарет. На фронте баб нет, а она ходит между койками, одеяла поправляет, градусники ставит, глаза яркие, кудряшки из-под косынки – как тут не влюбиться! Поручик Иваницкий даже жениться на ней собирался – она уже ходила невестой, – но выздоровел и раздумал. Говорил, мать не позволила. Да и потрепана она была очень к этому времени...

Сквозь дремоту голос Кудрявцева казался далеким и будто приснившимся. Яков Иваныч все не возвращался. Сашка давно уже спал на своей шинели – животом вниз, расставив ноги, положив лицо на руки.

Дремота подхватила меня и понесла, покачивая, как на плоту. Пятна на стене шевелились, все предметы росли, заволакиваясь туманом, – и лампадка, и коленчатая труба «буржуйки», и три винтовки в углу, и Сашкина кожаная куртка, висящая возле двери.

Валерьян Сергеич умолк, но все еще шагал над нами, швыряя свою тень со стены на стену.

Внезапно он остановился. Прислушался к нашему дыханию. Я еще не спал, но глаза мои были закрыты, и он решил, что мы оба спим. Он вышел в сени и тихонько прикрыл за собою дверь.

Я напряженно ждал, что вот-вот брякнет болт наружной двери и Кудрявцев уйдет.

Но болт не брякал.

Почему Валерьян Сергеич так долго стоит в сенях?

И вдруг в тишине тоненько заскрипела лестница, ведущая наверх, к Галине Петровне.

Опять тишина. Затем мелкий, суховатый стук.

Суставом согнутого пальца Кудрявцев осторожно стучал в дверь Галины Петровны.

– Галя! – позвал он.

Галина Петровна заметалась у себя наверху. Я слышал над собой ее быстрые, мелкие, мягкие шаги – она, вероятно, босиком вскочила с постели.

И торопливо заговорила через дверь, – слов я, конечно, не расслышал.

– Я скучал без тебя, Галя... Не веришь? – сказал Кудрявцев. – Вот я, как прежде, пришел к тебе...

И снова зазвучал ее стремительный, ненавидящий шепот.

– Ну что тебе стоит! – настаивал Кудрявцев, скрипя дверной ручкой. – Не в первый

же раз.

Она проговорила что-то в ответ запальчиво и твердо. Он выругался. Спустился с лестницы и вышел из дома.

7

Зима затянулась, и в городе все оставалось по-прежнему.

Здание исполкома было по-прежнему украшено обсыпавшимися еловыми ветками. По-прежнему по пустым улицам скакали люди на маленьких заиндеветых мохнатых лошадах, и тусклые красные звезды горели у них на папах. По-прежнему на заборе против каланчи мускулистый рабочий прокалывал штыком брюхо капиталиста, и из брюха сыпались золотые монеты. Колокола церквушек по-прежнему стыдливо позванивали, а бабы на базаре, с лицами, дубленными морозом, по-прежнему осторожно оглядывались, не идет ли из-за поворота Сашка в черной папаше и синих галифе.

И только одно изменилось – вооруженные люди шли через город не с вокзала на фронт, а с фронта на вокзал.

Воинские части спускались с холмов, проходили по улицам, по льду реки и ждали возле вокзальной водоканчки, когда им подадут состав из замороженных теплушек.

Снег на дорогах, истоптанный сапогами, стал сер и сыпуч, как песок.

Армия медленно отступала. Без боя. Судьба ее решалась не здесь, а гораздо южнее, где наш фронт был прорван и смят.

Тайная тоска ожидания мучила город. Одни ждали с ненавистью, другие – с надеждой. И все исподтишка следили друг за другом: ждет он или не ждет? С надеждой или с ненавистью?

Сашка и Яков Иваныч тоже ждали и тоже скрывали свое ожидание.

Когда поздно вечером Яков Иваныч возвращался домой, Сашка подымался на локте и с жадной тревогой заглядывал ему в лицо. Яков Иваныч хмуро перехватывал этот взгляд.

– Накопили! – говорил он недовольно, чтобы Сашка ни о чем его не спрашивал, и подрезал фитилек лампадки.

Яков Иваныч ложился. Сашка так и не осмеливался его спросить.

Но однажды, заметив надоедливый этот Сашкин взгляд, Яков Иваныч, помню, вдруг закричал на него:

– Дурак! Неужели мы отдадим город, если тут железная дорога начинается!

– Да я говорю... Да разве я... – извинялся Сашка. – Да кто ж отдаст!..

За последнее время Сашка как-то отбился от нас с Яковым Иванычем и домой приходил только ночевать. Мы его видели мало. С утра до вечера он торчал у Кудрявцева или расхаживал с ним по городу.

В те дни Валерьян Сергеич усердно работал над формированием своей артиллерийской школы. В купеческом доме на Дворянской появилась пишущая машинка, а при ней голодная, высохшая девица с разноцветными кошачьими глазами – один глаз голубой, другой карий. Девица двумя пальцами била по клавишам и выстукивала удостоверения. В удостоверениях говорилось, что такой-то и такой-то товарищ является курсантом артиллерийской школы.

Своих курсантов Валерьян Сергеич вербовал сам, по собственному выбору. Он знакомился с проходившими через город частями и выискивал там людей для своей школы. Тех, кого он указывал, перечисляли в его распоряжение.

Кое-кого набрал он и в городе – и все людей странных и неожиданных. И, конечно, был среди них и агроном – гитарист и пропойца, никогда прежде не питавший пристрастия к военной службе. И два-три работника местного отдела народного

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский [chukovskiynikolai.ru](http://chukovskiynikolai.ru)  
образования. И попович, проклятый отцом и вступивший в лоно безбожия.

Особенно хорошо запомнил я этого поповича, тощего и длинного, как прут. В те дни он всюду ходил за Сашкой и Кудрявцевым, с пулеметной лентой через плечо, с ручной гранатой у пояса, с крохотным пенсне на маленьком бледном личике.

Всю эту возню, внезапно поднявшуюся вокруг артиллерийской школы, я помню смутно, потому что, как и все, не придавал ей тогда никакого значения.

Быть может, мысль о том, что эта возня поднята неспроста, в первый раз пришла мне в голову, когда я, придя вечером домой, услышал, как Сашка запальчиво говорил Якову Ивановичу:

– Если будет эвакуация, не все уйдут. Есть такие, которые останутся. Есть такие, которые не допустят гадов в город.

– Эвакуации не будет, – строго сказал Яков Иванович, повернулся к стенке и натянул шинель на ухо.

8

В ту зиму я по молодости своей был гораздо меньше занят, чем Сашка и Яков Иванович. Работал я в уездной газете, выходявшей раз в неделю и печатавшейся на коричневой ломкой бумаге, в которой попадались целые щепки. Редактор не верил в мои журналистские способности и работой меня не загружал. Он считал, что я поэт, а не журналист, и я тоже так думал. К каждому номеру я должен был готовить новое стихотворение. Для сочинения стихов нужна тишина, одиночество, и я часто оставался в нашей комнате один.

Я сочинял, шагая из угла в угол, вышлепывая ритм валенками. Длинная труба «буржуйки» тихонько звякала при каждом моем шаге.

Это были стихи беспредметно революционного содержания, в которых восхвалялась борьба. Помню, мне чрезвычайно нравилась тогда рифма «товарищ – пожарищ»

Яков Иванович и Сашка знали, что я пишу стихи, но никогда со мной о них не говорили. Однако я чувствовал, что они втайне меня за них уважают, и гордился этим. Писание стихов казалось им делом загадочным и торжественным. Впрочем, это уважение не мешало Якову Ивановичу обращаться со мной как с мальчиком.

Чтобы сочинить четыре строчки, мне нужно было пройтись по комнате раз восемьдесят. Я кончал маленькое стихотворение после двух часов безостановочной ходьбы и валялся на пол в изнеможении – не от умственной усталости, а от физической.

Ни о чем не думая, опустошенный, я лежал и прислушивался к тишине.

Но мало-помалу тишина оживала – ко мне доносились сверху легкие шаги Галины Петровны, и я вспоминал, что я в доме не один.

Я вслушивался, и каждый звук, доносившийся сверху, становился понятным, наполнялся смыслом. Я всегда твердо мог сказать, в каком месте своего жилья она находится – на кухне, возле стола, или в спальне, возле кровати, или в углу, у зеркала, или на стуле у окна. Я почти всегда знал, что она делает: вот она подметает, вот топит печку, вот стирает, стелет постель, ест, умывается. Вот после долгой тишины брякают, падая, ножницы, и я понимаю, что она сидит и шьет.

У меня образовалась привычка следить за каждым ее движением. Эта привычка превратилась в потребность. Я лежал на полу, думал о самых разных вещах, а все машинально прислушивался.

И если я долго ничего не слышал, меня охватывала тревога. Я напряженно ждал и успокаивался только тогда, когда легкий скрип половицы у меня над головой снова выдавал Галину Петровну.

Я знал ее походку, знал ритм ее движений, даже ее дыхание. Она тоже всегда знала, дома ли кто-нибудь из нас или нет. Когда хоть один из нас был дома, она молчала. Но когда мы все уходили из дому, она начинала петь.

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский [chukovskiynikolai.ru](http://chukovskiynikolai.ru)  
Несколько раз мне удавалось подслушать ее пение.

Уйдут, бывало, Яков Иваныч с Сашкой, стукнут дверь, а я притихну, лежа на полу. Она и решит, что мы все ушли, и затянет тоненько-тоненько.

Это был напев без слов, состоявший из трех-четырёх нот, бедный, тягучий и однообразный. Так, вероятно, поет самоед, когда едет один сквозь метель на олене.

Я всегда радовался, услышав это пение, потому что высокий голос Галины Петровны был ясен и мягок. Но долго слушать ее я не мог. Быть может, напев этот вовсе и не был печален, но я начинал тосковать. Я изнемогал от тоски. Не выдержав, я кашлял или звякал дверцей «буржуйки». Услышав меня, она сразу замолкала.

Ходить к ней в гости я стал после того, как принес ей однажды ведро воды из колодца.

До колодца было довольно далеко, и весь околоток брал из него воду. Много раз я видел, как Галина Петровна тащит через двор тяжелое ведро. Без каблуков, в валенках, она казалась крошечной.

Каждое утро мы брали у нее кипяток, и мне было неловко, что она таскает для нас воду. Я нашел ее ведро в сенях, сходил за водой и принес к ней наверх.

Она открыла мне дверь и остановилась на пороге, не сразу поняв, в чем дело.

– Не надо! Не надо! – закричала она, стараясь вырвать ведро у меня из рук.

Она нечаянно коснулась лбом моей щеки и еще больше смутилась. Мы легонько плеснули водой по крашеным половицам. Я поставил ведро в угол и выпрямился.

Она предложила мне чаю с брусничным вареньем. Я согласился и подсел к столу.

С тех пор каждый день, когда Якова Иваныча и Сашки не было дома, я приносил ей воду.

И всякий раз оставался посидеть.

Сначала она открывала мне, чуть только я постучу. Но после того случая, когда, как-то вечером, Валерьян Сергеич сделал попытку зайти к ней, она, услышав стук, начинала тревожно метаться за дверь и пугливо спрашивала:

– Кто? Кто?

Едва я отвечал ей, она открывала, успокоенная. При мне она всегда была занята какой-нибудь работой: шила, обтирала тряпочкой мебель, мыла тарелки, стряпала, штопала чулки. Она работала бездумно, точно, спокойно, с удивительной легкостью, словно не затрачивая никаких сил на весь этот труд, непрерывный, как раскачивание маятника.

Скоро она привыкла ко мне и стала обращаться со мной запросто. Всякий раз она чем-нибудь меня угощала, чаще всего кашей. Она варила ее тут же, при мне, из пшенной или гречневой крупы и наливала мне полную тарелку. Мне было совестно, но я не в силах был отказаться, так как страдал аппетитом, именно страдал, потому что в шестнадцать лет аппетит – страдание. Да и как можно было отказываться, когда ей доставляло такую явную радость смотреть, как я ем! Была материнская нежность в движениях теплой руки, сметавшей крошки со стола, материнская тревога в глазах, следивших за тем, как я подносил первую ложку ко рту, – не горячо ли, не слишком ли солоно?

Комната была полна тем живым, ясным светом, который бывает только в марте, когда дни уже длинны, а весь мир кругом засыпан снегом. Морозы все еще не сдавали. В такой тихий сияющий полдень хорошо молчалось, и мы большей частью молчали.

Она распускала волосы, накаляла на лампе щипцы и завивалась. Потом обкручивала завитки бумажками, чтобы не разметались. Галина Петровна долго возилась в углу перед зеркалом, рассматривая всклоченную голову, полную газетным мусором, и наконец поворачивала ко мне лицо, прозрачное, голубоватое от пудры.

Яков Иваныч всегда с особой брезгливостью говорил о ее завитках и о пудре. В те годы женщины не пудрились, и вид напудренного лица был дик и неприятен.

Но я отчего-то прощал Галине Петровне и бумажонки в волосах и пудру. Я чувствовал, что для нее теперь это только остаток чего-то прежнего, далекого, полузабытого, только привычный ритуал, совершаемый механически, без цели, без тайных мыслей.

Скоро я стал подозревать, что вся обстановка ее комнаты, где каждый предмет был связан с годами мировой войны, – все эти поручики с крестиками и без крестиков, Кузьмы Крючковы, чернильницы из снарядов, свиньи в касках – для нее тоже уже только музеи, только привычка, только память, мертвый след когда-то живой веры.

Иногда она прерывала наше молчание потоком легких, бездумных, случайных рассказов. Но о войне она говорила редко, скупно и неохотно. С той войной у нее были какие-то свои, тяжелые счеты. И с удивлением догадывался я, что Яков Иваныч, пожалуй, не прав, – она вовсе не любила того, что он так ненавидел. Она рассказала мне, что отец ее был столяр. Она росла под верстаками, среди стружек. Доски, брусья, ящики, табуреты, столы – дерево, гибкое, мягкое, ломкое, теплое дерево окружало ее детство. Сколько раз ей влетало за то, что она переворачивала ведро с прозрачным коричневым вонючим клеем, сваренным из коровьих рогов. В волосах у нее вечно были опилки, – в приготовительном классе начальница заставляла ее расплетать и вытряхивать косу. Она училась в гимназии, потому что других детей у отца не было и он хотел сделать из нее барышню.

Совсем маленькая, она нашла на речном откосе пещерку, никому не известную, и каждый день уходила туда играть. Там в жестяной коробке она хранила бусы, сломанный ножик с перламутровой ручкой, осколки фаянсового блюда с цветочками. Но больше всего дорожила она скорлупой пятнистого вороньего яйца. Она играла в этой пещерке каждое лето, из года в год, но потом вдруг за одну зиму так выросла, что не могла в пещерку войти. Так все там и погибло – и скорлупа, и ножик, и блюдце.

А еще как-то раз она каталась с гимназистами в лодке. Было очень жарко и очень тихо, облака отражались в реке. Они заехали далеко, но вдруг появилась черная туча, поднялся ветер. Они понеслись назад на всех веслах. Стало темно, гром гремел, волны плескались через борт. Они испугались, один гимназист даже плакал. Но пошел теплый дождик, волны утихли, и ничего не случилось.

А в пятом классе у них был спектакль, и ее подруга играла принца и ходила в бархатных штанах. Принц должен был говорить: «Гм, я, кажется, узнаю тебя», – а подруга говорила не «гм», а «гым».

– Гым! – повторяла мне Галина Петровна, держась за стенку от смеха. – Гым! Гым!

В шестом классе Галина Петровна уже не училась, потому что отец состарился, дела пошли хуже и ей пришлось уйти из гимназии.

Но все-таки она стала барышней.

А в начале войны она полюбила одного человека, военного, который несколько месяцев перед отправкой на фронт жил в их городе.

Она рассказала мне об этом отрывисто и смутно, рассказала не сразу, а в десятый мой приход.

Человек, которого она любила, говорил, что тоже любит ее, она ему верила. Он был офицер, он уехал на фронт, и она не вынесла разлуки, она тоже поехала на фронт и поступила в лазарет, чтобы быть ближе к нему и чтобы участвовать в том деле, которое делал он.

Я, никого еще не любивший, но уже втайне терзаемый предчувствием любви, спросил ее, с трудом управляя своим голосом:

– А что в любви главное?

– Главное – верность, – ответила она сразу, не задумавшись. – Смотреть человеку

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
так близко в глаза и потом обмануть его – хуже этого не бывает.

На фронте человек, которого она любила, причинил ей много горя. Потом она любила других, и другие тоже причинили ей много горя, но никто не причинил ей столько горя, сколько тот человек, которого она полюбила первым.

– Когда тебя обманут, уже ничего не ждешь и никому не веришь, – сказала она. – А кто никому не верит, тот сам ни на что не годится.

Однажды она рассказала мне о холере на фронте в шестнадцатом году. Холерный барак был устроен в овине. Овин разделили жердями на два этажа, потому что больные на полу не помещались. Жерди были редкие, и со второго этажа текло в первый, на тех, кто лежал внизу. Работали там четыре сестры и доктор. За лето все заразились и умерли, кроме Галины Петровны.

Этот доктор был человек замечательный, хотя сильно пил. Он любил ее, и она его любила, но уже и ему не верила. И только когда он умер, она поняла, что ему-то можно было верить...

– С тех пор мне стало все равно, – сказала она.

– Что все равно? – спросил я.

– Все, что ни на есть.

Я не понял, как это может быть все равно. Я был слишком юн, чтобы понять. Что бы я ни видел, о чем бы я ни думал, мне было не все равно.

– Так не бывает – все равно, – сказал я.

– Бывает, – ответила она. – И очень просто.

Она, по-видимому, в это твердо верила, но я скоро убедился, что кое-что и ей вовсе не все равно.

Сидя у нее наверху, я всегда краем глаза поглядывал в окно. Свою дружбу с Галиной Петровной от Сашки и от Якова Иваныча я скрывал. И смотрел, не идет ли кто из них домой, чтобы успеть вовремя сбежать вниз. Однажды она подметила мой взгляд, брошенный в окно, и вдруг спросила:

– Он?

Я не сразу понял, о ком она говорит. Волнение ее поразило меня. Она подошла к окну, но остановилась за занавеской, чтобы ее не могли увидеть с улицы.

– Там нет никого, – сказал я.

Она недоверчиво осмотрела пустую улицу.

– А он все ходит! – объяснила она мне быстрым шепотком. – Приходит, когда вас никого дома нет, и стучит. Но я его не пушу!

Тут только я догадался, что она говорит про Валерьяна Сергеича. Блестящие глаза ее, окруженные легкими морщинками, сузились от ненависти.

– Не пушу! – повторила она яростно. – Он теперь большой начальник, грозит, что из лазарета выгонит, не понимает, что мне все равно. Я любого пушу, – мне что, мне все равно, а человеку, может быть, радость... Но его не пушу!

К своей сомнительной славе она относилась просто. Отлично, например, понимала, что мне влетит от Якова Иваныча, если он обнаружит меня у нее, но не обижалась. Она как будто находила вполне естественным, что есть люди, которые считают знакомство с ней зазорным. Она только вдруг притихала вся, когда я, заметив за окном черную папаху Сашки или меховую шапку Якова Иваныча, спешил, не дослушав ее, к двери.

Однажды Якова Иваныча я все-таки прозевал.

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
Выйдя от Галины Петровны на лестницу, я увидел его внизу, в сенях.

Кровь хлынула мне в лицо, хотя я ни в чем не был виноват. И вдруг я заметил, что Яков Иваныч смущен нашей встречей не меньше меня. Не знаю, заподозрил он меня в чем-нибудь худом или нет, но он так покраснел, что усы его стали светлее лица.

– На той неделе эвакуация, – сказал он, и в этих словах я почувствовал упрек мне, моему поведению. – Есть приказ.

9

На той неделе началась весна.

Тепло пришло сразу. Мягкое, туманное, бессолнечное утро глянуло в окно. Над почерневшими крестами кривых колоколен было мутное, низкое небо. Шурша, оседали сугробы. В городском садике между темных стволов табунились грачи.

Из оврагов доносилось ровное гудение – там, на дне, под снегом, уже мчалась незримая вода.

Сразу по всему городу запахло гнилым деревом – мосточками, крылечками, заборами. Воздух был полон стуком и звоном капель. Темные пятна появились на льду реки, и тогда все разом заторопилось на тот берег.

Так началась эвакуация.

Дорога через реку стала рыжей от конского навоза. Изогнутой ржавой полосой, хорошо видной с обрыва, ползла она через всю ширь реки. Двое суток шли по ней наши части, тяжело сползая с берега на лед, шли маленькими, редкими кучками.

Порой дорога пустела, и тогда нам казалось, что на нашем берегу уже нет ни одного красноармейца.

Но вот, звякая, съезжает на лед запоздавшая походная кухня. Лошади, равнодушные ко всему на свете, падают на колени, встают, тянут, скользят, снова падают и снова встают. И дорога опять наполняется колыханием штыков, голов и серых плеч.

Последними прошли через лед жены наших плотовщиков и лесорубов.

Плотовщики и лесорубы сидели в лесу с партизанским отрядом. И жены их не хотели оставаться у белых.

Это были здоровенные бабы, с квадратными спинами, с мужичьими руками, с солдатскими ножищами в высоких подкованных сапогах. Они волочили за собой детей, телят и коз. На плечах тащили они топоры и стальные наконечники багров.

Эвакуация продолжалась всего два дня. На третье утро и армия ни советские учреждения – все находилось на том берегу. Между городом и неприятелем не было больше никакой преграды.

Обе последние ночи Сашка дома не ночевал.

Я был уверен, что он давно за рекой, и дивился, как это он ушел, не дождавшись Якова Иваныча. Я чувствовал, что Якову Иванычу жестокая нанесена обида. Сашкиного имени он больше не произносил, и я его о Сашке не спрашивал.

Я должен был ехать на тот берег в первый же день эвакуации, вместе с редакцией газеты и типографией. Типография у нас была крошечная, она вся поместилась на одних дровнях. Яков Иваныч сам хлопотал, чтобы я уехал с типографией, и уговорился, что мой сундук поставят на дровни возле наборной кассы. Но, несмотря на все хлопоты Якова Иваныча о моем отъезде, я знал, что Яков Иваныч не хочет, чтобы я уезжал без него. И с типографией я не поехал. Яков Иваныч даже рассердился на меня, но я видел, что он втайне рад моей несговорчивости.

А Яков Иваныч все медлил уезжать.

У него было какое-то поручение от партийного комитета, и это поручение задерживало его. Он мотался по городу, пропадал в слободе, тянувшейся вдоль реки за оврагом, и будто не замечал, что своих кругом не осталось, что лед слабеет,



Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
лиловеет и мокнет.

Наступил, наконец, третий день, и мы совсем уже было собрались идти. Я даже рубашки Якова Ивановича сунул к себе в сундучок. Но, потоптавшись перед дверью, Яков Иванович вдруг сказал мне, что у него в городе осталось еще маленькое дельце, последнее.

Он попросил меня подождать его. Вероятно, он немного беспокоился за меня, потому что, уходя, велел мне запереть дверь на крючок и никого не пускать.

Я остался один. Мне не было страшно. Но тишина угнетала меня. То была особая тишина – напряженная тишина притаившегося города. Одна власть уже ушла, а другая еще не пришла.

Улица за воротами двора была пуста. Ни одного дымка над крышами, ни одной открытой форточки – будто чума прошла городом и никого не оставила в живых. Люди притаились за толстыми бревнами приземистых срубов, за слепыми окошками, но бодрствовали, слушали, ждали.

Я пробовал читать, пробовал сочинять стихи – ничего не удавалось. Я только бегал из угла в угол, пока не изнемог. Я свалился на шинель, и напряженный слух мой стал до того тонок, что я слышал звон каждой капли, падающей за окном, с крыши.

И вдруг я услышал шаги наверху, за потолком. Легкие, привычные шаги Галины Петровны. Я сначала не придал им никакого значения и только машинально следил за тем, как она переходит из кухни в спальню, из спальни в кухню. И внезапно вспомнил: да ведь лазарет еще вчера переправился на тот берег! Значит, она осталась!

Не успел я это подумать, как кто-то громко ввалился со двора в сени.

Я вскочил и распахнул дверь. В сенях стоял Сашка.

Мокрая его папаха была заломлена на затылок, и прядь слипшихся волос падала на лоб. Сашка похудел за то время, что я его не видел. Лицо побледнело, глаза стали больше. По одичавшим его глазам я понял, что Сашка возбужден до крайности и, вероятно, находится в этом возбуждении уже давно, с самого начала эвакуации.

Он заглянул в комнату и тревожно спросил меня:

– Ты один?

И очень обрадовался, что я один. Он боялся встретить Якова Ивановича.

– Я пришел за тобой, – проговорил он, входя и присаживаясь на подоконник. – Я на тебя надеюсь. Пусть трусы как хотят, а ведь ты боевой...

И, вскакивая, задыхаясь, он рассказал мне, что артиллерийской школе приказано было идти на тот берег, отступить вместе со всей армией, но артиллерийская школа отступить не хочет, несмотря на приказ, не хочет сдавать город без боя. Курсанты дотянули до последнего, чтобы не дразнить дураков из дивизии, дождались, когда все ушли, и теперь их никто уж уйти не заставит. И Сашка, конечно, остался с ними и записался в школу, потому что Валерьян Сергеич такой человек! Сегодня к концу дня все курсанты соберутся в помещении школы, на Дворянской. Белых ждут к ночи. Ну что ж, у входа в город их встретят как надо. Есть еще люди, которые умеют умереть за революцию!..

– Пойдем с нами, – уговаривал он меня. – Валерьян Сергеич тебя примет, я его убедил, он очень со мной считается.

Но Яков Иванович велел мне сидеть дома и ждать. И я отказался идти с Сашкой.

– Катись к черту! – закричал на меня Сашка. – Вы все из одного теста!

Свирепый и презрительный, он вышел в сени.

Однако в сенях замешкался. Что-то все-таки беспокоило его.

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru

– А как старовер? – тихо спросил он, топчась перед дверью. – Чего говорит про меня?

– Молчит, – сказал я.

– Молчит? – повторил он и как-то съежился, подняв плечи. Он издавна привык бояться молчания Якова Иваныча.

– Ну, прощай, – сказал он грустно и вышел во двор.

10

Весь тот длинный мокрый апрельский день я просидел один в комнате.

Я жевал холодную кашу, смотрел в окно и ничем не мог заняться. Ожидание истомило меня. Пока было светло, мне кое-как удавалось оставаться спокойным, но когда начался вечер и грязноватые мутные сумерки заполнили комнату, я не выдержал.

Яков Иваныч не придет за мной никогда! А вдруг белые уже вошли в город, ему не удалось добраться до дому и он один ушел на тот берег? Или – как знать! – он попался и уже арестован?

Я чувствовал, что это вздор, что белых в городе еще нет, но никак не мог справиться со своей тревогой.

Я уже жалел, что не пошел с Сашкой, – по крайней мере я сделал бы что-нибудь, я был бы с людьми.

Не выдержав, я решил пойти поискать Якова Иваныча или Сашку. А не найду – отправлюсь один на тот берег, если не двинулся лед.

Я оделся, взял свою винтовку и вышел на крыльцо. И на крыльце столкнулся с Яковым Иванычем.

– Сашки нет? – спросил он, втащив меня назад в комнату.

Я рассказал ему, как приходил Сашка и как звал меня с собой.

Огня мы не зажигали, но и в темноте я видел, как взволновался Яков Иваныч.

Он уже знал, оказывается, что Кудрявцевская школа осталась в городе. Он только не был уверен, что со школой остался и Сашка.

– Пойдем, – сказал он.

Мы вышли, не захватив ничего, кроме винтовок, не заперев дверей.

Я был удивлен, увидев, что он ведет меня не к реке, а как раз в другую сторону, куда-то прочь от реки, в город.

Яков Иваныч спешил. В сумерках я видел перед собой его широкую спину с винтовкой, слышал хлюпанье его сапог и едва поспевал за ним. Он шел через лужи и грязь, не разбирая пути, и молчал.

Он вел меня на Дворянскую улицу, к купеческому особняку.

Когда мы пришли, совсем стемнело. Перед забором купеческого особняка жались какие-то тени, теснились возле широко открытых ворот.

Расталкивая толпу, из ворот вышли трое.

– Арестованного повели, – сказал кто-то во мраке рядом со мной.

У двоих были винтовки. Третий шел со скрученными за спиной руками.

– Всей школой белым передались, – продолжал тот же голос за моей спиной. – А которые не хотят – тех в погреб.

Голос не порицал и не одобрял – это был бесстрастный голос.

– На Москву! На Москву! – восторженно кричал кто-то за забором.

Мы осторожно протолкались к воротам.

За воротами, в темном дворе, стояли люди с винтовками, еле видные во мраке. Это были курсанты Кудрявцева.

Сам Кудрявцев стоял на высоком крыльце особняка. Он был хорошо виден, потому что из раскрытой настежь двери его озарял яркий свет керосиновой лампы. Он стоял неподвижно, прислонясь к дверному косяку. Лицо у него было неистовое, но застывшее, – можно было подумать, что он спит стоя, с открытыми глазами. Это было странно и страшно. Глаза блестели оловянно, совсем как тогда, когда он гнал через деревянный мост обезумевших лошадей. Вероятно, как и тогда, он был осатанело пьян. Рядом с ним стоял длинный и тощий попovich с пулеметной лентой через плечо, с ручной гранатой у пояса.

– На Москву! – кричал он, раскачивая крохотной, птичьей головкой. – Кто с нами пойдет на Москву, будет прощен. Но кто не согласен идти, пусть не ждет пощады. Кто не согласен?

Он умолк, выжидая.

Я напряженно вглядывался в темноту, стараясь найти Сашку. И вдруг заметил его. Возле самых ворот. В двух шагах от себя.

– Твари! Ироды! Гадины! – закричал он неистовым голосом. – Натте! Берите! Бейте!

Он бился и плакал от злости. Папаха уже слетела с его головы, и он, трясясь, распахивал на себе грудь, чтоб скорее подставить ее под пулю.

Кудрявцев, казалось, проснулся. Он поднял голову и стал напряженно вглядываться в темную яму двора. Не знаю, удалось ли ему разглядеть Сашку, но только он вдруг рассмеялся.

Это тоже было странно и страшно.

Яков Иваныч схватил Сашку за плечи и пихнул прочь от двора, от ворот, на самую середину темной, полной народа улицы.

Мы оба, держа винтовки наперевес, повели его через толпу, как арестованного.

11

Эта уловка спасла нас.

Я скорее чувствовал, чем видел, как перед нашими штыками расступаются люди. Я слышал вокруг жадное, возбужденное дыхание. Но никто не произнес ни слова. Осторожничили, не зная, чем все кончится.

Мы свернули за угол, в глухую тьму. Мы боялись обернуться. Вот-вот за нами погонятся, поймут, поволокнут...

Труднее всего нам было с Сашкой. Он все порывался назад, громко всхлипывал, угрожал, сквернословил пронзительным, не своим голосом. Наконец Яков Иваныч совсем рассердился и сказал ему:

– Молчи, болван!

Тогда Сашка замолк, съежился и пошел между нами понуро и послушно.

Ночь была полна шумов, шагов, дальних криков. Иногда навстречу нам попадались люди. Мы их не видели, мы только слышали, как они, почуяв нас, замирали, прижимаясь к заборам.

Где-то в стороне, по дворам и переулкам, кружились над землей огненные жуки – там кто-то бродил с фонарями.

Поравнявшись с каланчой, мы увидели озаренные окна собора. Шла служба. В

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
открытых дверях над толпою колыхались хоругви. Пели. Мягкая, влажная тьма  
дрожала от гудения мужских голосов, а голоса женщин были как плеск воды.

За спиной услышали мы пошлепывания копыт. Мы кинулись в сторону и притихли.

Невидимые кони шли мимо нас. Мерно тренькали стремена. Пахло мокрой кожей и  
горьким потом. Брызги летели из-под копыт нам в лица.

Всадники выехали на площадь. Один за другим появлялись они из мрака, возникая  
перед освещенными дверями собора. Мы видели папахи, заломленные в разные  
стороны, и тонкие пики.

Это был передовой казачий разъезд, занявший оставленный город.

Яков Иваныч вел нас к реке. В приречных улицах было тихо и пусто. Домишки спали  
или притворялись спящими – ни одного огня в окнах. С легким шелестом таял  
последний снег. Тяжелые капли срывались вздыхая. Только истерический собачий  
лай, перескакивавший со двора на двор, выдавал всю бессонную напряженность этой  
притаившейся ночи.

Мы останавливались на всех углах и подолгу стояли вслушиваясь. Опасались, что за  
нами следят. Не крадется ли кто-нибудь сзади? Но нет, никто нас не преследовал.  
По-видимому, о нас забыли.

Мы стали смелее. Мы уже шли посреди улицы, совсем не хоронясь. До спуска к реке  
было недалеко, но до нашего дома еще ближе – рукой подать.

Яков Иваныч остановился, колеблясь. Однако вокруг было так безлюдно и спокойно,  
что всякая мысль об опасности казалась нелепой. В доме остались кое-какие наши  
вещи и, главное, некоторые бумаги Якова Иваныча, которые спокойнее было бы  
уничтожить. Судя по всему, воинские части белых еще не успели проникнуть сюда,  
на окраину.

И Яков Иваныч решил.

Дом наш был тих и темен. Только наверху, у Галины Петровны, слабо светилось окно  
с белой занавеской.

Яков Иваныч снова заколебался. Постоял раздумывая.

– Зайдем так, чтобы она не заметила, – сказал он наконец. – Черт ее ведает, эту  
бабу...

Согнувшись, прижимаясь к забору, где было темнее, мы беззвучно прошли через двор  
и поднялись на крыльцо.

В сенях что-то маленькое, серое кинулось к нам с лестницы.

– Засада, – услышал я шепот Галины Петровны. – У вас в комнате засада...

Она осторожно, двумя пальцами, взяла меня за рукав.

И я понял, что она давно уже стоит здесь, в сенях, поджидая нас, чтобы сказать  
нам о засаде.

Мы замерли, потом попятнулись к выходу.

И в ту же минуту услышали во дворе стук тяжелых шагов, разбрызгивающих лужи.  
Шаги приближались к крыльцу, отрезав нам дорогу во двор.

– Наверх, ко мне! – шепнула Галина Петровна и поплыла вверх по лестнице.

Мы двинулись за ней, стараясь, чтобы ни одна ступенька не скрипнула.

12

Мы стояли в ее низенькой спальне, в полутьме, и слушали.

В кухне, возле запертой двери, ведущей на лестницу, стояла Галина Петровна,

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
держа полной мягкой рукой зажженную керосиновую лампу.

Человек, шагавший по двору, шумно ввалился в дом. Наткнулся в сенях на ведро, и в ночной тишине грохот пустого ведра был как пушечный выстрел. И сейчас же я услышал привычный визг двери – кто-то выскочил из нашей комнаты.

– Бросьте, это я! – раздался снизу громкий голос Валерьяна Сергеича. – Напрасно вы здесь сидите. Они сюда не придут.

– Ясно, не придут, – согласился с ним незнакомый голос. – Зря время теряем.

– А я говорю – они здесь! – сказал третий голос, тоже незнакомый.

– Где?

– Наверху!

– Вздор!

– А я говорю – я слышал! Они только что поднялись по лестнице! Они там!

– У нее? – спросил Валерьян Сергеич.

Голоса смолкли. По-видимому, Валерьян Сергеич стоял раздумывая.

Галина Петровна мгновенно отодвинула засов и отворила дверь на лестницу. С лампой в руке она вышла, и мы увидели – через кухню, через раскрытую дверь, – как она остановилась на лестнице, на самом верху, и глянула вниз.

– Валя! – сказала она глубоким голосом, совсем особенным. – Ты пришел?

– Галя! – отозвался снизу Валерьян Сергеич. – Что, вспомнила Раву – Русскую?

– Я знала, что ты придешь, – сказала Галина Петровна. – Я сейчас бегала вниз посмотреть, не придешь ли ты.

– Так это ты бегала, Галя? Я так и подумал, – сказал он. – Не сердись, что я велел тебя из лазарета уволить. Уволил, чтобы тебя с лазаретом не увезли. Теперь лазарет тебе не нужен. Теперь мы будем вместе... Я иду к тебе, Галя!

– Постой! Я спущусь...

– Нет! Я хочу сейчас!

И мы услышали, как он начал подыматься по лестнице.

– Я пойду с вами... – раздался голос.

– Отставить! – приказал Валерьян Сергеич. – Я пойду один! Не стоять в сенях! Уходите в комнату!

Он подымался. Я слышал скрип его краг.

Потом увидел его. Он остановился перед Галиной Петровной, ярко освещенный лампой. В опущенной его руке был наган, выложенный серебряными листьями. Холодная неистовость сияла в глазах. Он был смертельно пьян, но опьянение выражалось только в этом бессмысленном, бешеном взгляде.

В дверь, в темные комнаты, он не смотрел. Он видел только Галину Петровну с керосиновой лампой в руке, маленькую Галину Петровну, и молча уставился на нее, пристально и бессмысленно.

Она слегка отпрянула.

Сашка, не удержавшись, переступил с ноги на ногу. Сапог его стукнул о половицу. Валерьян Сергеич поднял голову, вглядываясь в дверь, в темноту.

Галина Петровна заметила этот взгляд. И сразу же рванулась вперед, припала к

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский chukovskiynikolai.ru  
Валерьяну Сергеичу всем телом, обняла его. Лампа была у него за спиной. У нее за спиной был наган.

Она положила голову ему на грудь и подняла лицо. Валерьян Сергеич нагнулся и губами нашел ее губы.

Не отрываясь от ее губ, он сильным движением втолкнул ее в кухню и вошел вместе с нею. Прильнув к нему, она старалась повернуть его к нам спиной. Но он был сильнее ее, он поворачивал ее дальше и опять оказывался к нам лицом.

Они медленно кружились, и лампа то скрывалась, заслоненная ими, то снова ослепляла нас. Громадные тени перебежали со стены на стену.

Свободной рукой она ловила у себя за спиной его руку с револьвером.

Прижатые друг к другу, Кудрявцев и Галина Петровна, кружась, рухнули на пол. С плачущим звоном разбилось ламповое стекло. И свет погас.

Хрустнуло, отворяясь, замазанное на зиму окно. Яков Иваныч распахнул его. Влажный воздух вошел в комнату. Яков Иваныч встал на подоконник, заслонив чуть-чуть посеревшее небо.

Но прыгнуть он не успел, потому что в кухне щелкнул револьверный выстрел.

Яков Иваныч соскочил с подоконника на пол, и мы втроем, в темноте, кинулись в кухню. Яков Иваныч чиркнул спичкой. И при колеблющемся огоньке спички мы увидели на полу Галину Петровну и Валерьяна Сергеича.

Голова Валерьяна Сергеича лежала на коленях у Галины Петровны, и она обнимала его рукой, в которой был зажат выложенный серебром наган.

– Идем с нами! – сказал ей Яков Иваныч.

Мы уже слышали, как те двое, внизу, встревоженные выстрелом, осторожно и пугливо подымались по лестнице. Она посмотрела на нас безразлично.

– Уходите, – сказала она. – Нет, я никуда не пойду. Я с ним не расстанусь.

И мы выпрыгнули через окно в мокрый снег.

13

Когда мы перешли реку, за нами, над городом, уже висела ветреная весенняя заря.

На берегу нас окликнули красноармейцы. Нас узнали, и мы пошли в дом начальника станции – там был штаб дивизии, там мы разулись и сушили сапоги на плите.

А когда поднялось солнце, лед двинулся и шел шесть суток. Льдины кружились, сталкивались, сияли, синели и таяли. Вздувшаяся вода уносила последние остатки забываемой той зимы.

Шесть суток между двумя берегами – берегом белых и берегом красных – была преграда, неодолимая для всех, кроме ветра, изменчивого, полного гнилых и сладковатых запахов весеннего леса.

Все шесть дней жаркое солнце висело над ясным, вымытым миром, и все шесть дней до нас доходили добрые вести. фронт белых был прорван. Его прорвали в сотне верст к югу от нас. Главные наши силы хлынули в прорыв и пошли на восток – к Уфе, к Уралу.

А на седьмой день белые покинули город. Мы видели, как тянулись они через холмы, по дороге, мимо телеграфных столбов. Дорога уже подсохла, и легкая пыль вилась над возами.

В городском саду мы хоронили повешенных. Сад был в зеленом дыме только что лопнувших почек. Нежные, светлые стебли травы раздвигали черные комья. Трубы сияли, и пели, и плакали.

Когда трубы смолкли, предисполкома прочитал имена погибших. Галины Петровны

Сестра. Николай Корнеевич Чуковский [chukovskiy Nikolai.ru](http://chukovskiy Nikolai.ru)  
среди них не было.

Говорят, Сашка встретил ее через несколько месяцев, когда мы взяли Красноярск. Он один из первых вошел в Красноярск и освободил ее из тюрьмы. Он хотел жениться на ней, но она не пошла за него.

1933 г.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://chukovskiy Nikolai.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!